ЧЕТЫРЕ КАПЛИ

Комедия в двух действиях, состоящая из четырех пьес авторских лирических отступлений

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Открывается занавес. На сцене полумрак, и слышится голос автора.

Голос автора. Здравствуйте, товарищи! Я — автор пьесы, кото­рую вы сегодня смотрите. Мне бы хотелось поделиться с вами одним со­ображением по поводу своей профессии. В отличие от прозаика, поэта, критика, драматург никогда не может выступить сам, лично. Ну, допустим, прозаик пишет роман, рассказ или повесть и всегда имеет счастливую воз­можность лично от себя развить или пояснить чувства и мысли своих ге­роев, да и просто сказать что-то от себя. Например: «Кстати, замечал ли ты, любезный читатель, что люди, рассеянные с подчиненными, никогда не бывают рассеянны с людьми вышестоящими?» Это вдруг, неожиданно замечает, если мне не изменяет память, Тургенев в одном из своих рома­нов. Мысль тонкая, и мы с удовольствием ее отмечаем.

Или: «Эх, тройка, птица-тройка... Кто тебя выдумал?» — горячо вос­клицает вдруг совершенно от себя Николай Васильевич Гоголь. И мы дей­ствительно вместе с Гоголем думаем: кто ее выдумал, эту тройку?

Так же волен и поэт. «Ах, ножки, ножки! Где вы ныне? Где мнете веш­ние цветы?» Забыл в этот миг Александр Сергеевич Пушкин и Онегина, и Татьяну, и Ленского, вспомнил чьи-то ножки и тут же, прервав действие, поведал нам о них.

Таково свойство художественной прозы и поэзии. Автор свободно вхо­дит в ткань ее и так же свободно выходит, и называется это «авторское от­ступление», иногда — «лирическое отступление».

А что делать драматургу?

Занавес открылся, персонажи начали диалог, мизансцена сменяется мизансценой. Действие уже не остановишь, не скажешь: «Товарищи, по­дождите минутку, я припомнил один случай...» Нет, этого сделать нельзя.

Но я постараюсь воспользоваться паузами, когда действие еще не на­чалось.

Заступница

Шутка

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Константин Григорьевич Сусляков, 51 года.

Лариса — девочка, 13 лет.

Секретарша, лет сколько угодно.

В кабинете — Константин Гр игорьевич Сусляков. Входит Лариса, девочка-подросток, тоненькая, с острым носиком. Она ведет себя вполне достойно и солидно, но видно, что это только от волнения она такая подобранная и деловитая.

Лариса. Здравствуйте, Константин Григорьевич!

Сусляков. Здравствуй... (добавляет) те.

Лариса. Я дочь Перекатова Ивана Николаевича, меня зовут Ла­риса.

Сусляков (уже твердо). Здравствуй, здравствуй, Лариса! (Как буд­то что-то вспомнив.) А-а-а, это ты!

Лариса. А разве вы меня знаете?

Сусляков. А как же! Мне мой Вовка о тебе рассказывал. Вы с ним в школе за одной партой, да?

Лариса. Да.

Сусляков. Садись, садись... Это уж не ты ли моего Вовку щип­лешь, Лариса? У него вот тут (показал руку выше локтя) синячище.

Лариса. Он меня каждую минуту своей авторучкой в бок тык-тык...

Сусляков. Ручкой тебя в бок... (Поняв, почему Вовка так поступа­ет.) Скажи-ка!.. Да, растет парень, растет...

Лариса. Вот именно. А как маленький!

Сусляков (более внимательно разглядывая девочку.) Мордочка у тебя симпатичная. Вовка у меня парень умный, верно?

Лариса. Умный.

Сусляков. Как-то ты так сухо о нем: «умный», а вроде плохой. Ты скажи, в чем дело. Я отец. В случае чего...

Лариса. Нет, он учится хорошо.

Сусляков. Чем же он тебе не по вкусу?

Лариса. Я ничего плохого о нем не сказала.

Сусляков. Ты учти, Ларочка, я директор целой фабрики. А почему меня директором сделали? Потому что у меня глаз — рентген. Как гляну — каждого насквозь вижу. (Засмеялся.) Не пугайся, не пугайся, я шучу. Ты, значит, жаловаться пришла?

46

Лариса. На кого?

Сусляков. На Вовку.

Лариса (смотрит на Суслякова в полном изумлении). Вы что, меня за дурочку считаете?

Сусляков (немного обидевшись). Тогда что у тебя? Давай побыстрей, я занят.

Лариса. Я насчет моего папы.

Сусляков (хмуро, сухо). Давай-давай.

Лариса. Может быть, мне не надо было к вам идти, нехорошо...

Сусляков. Ну что нехорошего? Пришла так пришла, если дело.

Лариса. Я бы, конечно, ни за что не пошла, но дома такая обста­новка... Мама плачет, Никита, того гляди, совсем уйдет...

Сусляков. Ну, ну...

Лариса. Папу словно подменили... Пить много стал, и часто.

Сусляков. Слыхал.

Лариса. Мама плачет. Никита, мой старший брат, старается дома не бывать. Я, конечно, держусь...

Сусляков. Слушай, а что с ним случилось, с твоим батей? Когда я лет пять тому назад пришел сюда, тише твоего отца никого и не было. И глаз всегда ясный, и работал как часы. Может, ты чего там подноготное знаешь? Давай без стеснения. В случае чего — помогу. Замечаешь?

Лариса. Да.

Сусляков. Ну-ка, ну-ка, выкладывай.

Лариса мнется.

Не стесняйся, давай!

Лариса. Видите, папа совсем не современный человек.

Сусляков (насторожившись). В каком разрезе?

Лариса. Он какой-то старомодный. Вот, например, меня за день раз двадцать схватит, поцелует.

Сусляков. Когда «под мухой», что ли?

Лариса. Нет, и когда трезвый.

Сусляков. А-а-а, моя тоже так и норовит Вовку лишний раз лиз­нуть, да он отбивается.

Лариса. Это же несовременно. Наше поколение жестче, проще. Потом у него нет стойкости, ну, твердости, что ли, чисто мужских черт. Вот у нас во дворе есть мальчик Петя. Железный! На два года меня старше...

Сусляков. Что это за Петя?

Лариса. Это не важно, я к слову...

Сусляков. Да, давай-ка пока Петю в сторону. Дальше!

Лариса. Вот, по-моему, причина: папа очень чувствительный, рани­мый, чуть что — обижается. Мама, например, ему говорит: «Скажи Ники­те, чтобы не являлся в час ночи или хотя бы звонил, если задерживается». А папа говорит: «Как же я ему скажу, Шурочка?..» Маму мою Александра Васильевна зовут. «Как же я скажу, если ему скоро уже двадцать лет и он студент третьего курса? В этом возрасте, Шурочка, человек сам все дол­жен понимать». Мама на него... Я папу понимаю, он в общем-то прав. Никита большой, он уже выучился, его теперь жизнь учить будет. Это он сам мне так говорил. И пусть оставят его в покое. Он хороший, только за­дерганный. Нас ведь все дергают и все учат. Знаете, прямо с ума сойдешь. Говорят, мы грубые. Мы не грубые, мы обороняемся. Извините, я все сби­ваюсь...

47

Сусляков. Ничего, ничего. Ох, до чего вы одинаковые! Мой Вов­ка... Чаю хочешь?

Лариса. Спасибо, выпью. Я волнуюсь.

Сусляков. Вижу. А ты не волнуйся. Если дело чистое, чего самому себе нервы дергать. (Нажал кнопку.)

Вошла секретарша.

Два чая с лимоном.

Лариса. Мне, пожалуйста, без лимона.

Секретарша ушла.

Сусляков. Значит, ты считаешь, отец по слабости воли пить начал? Лариса. Это, так сказать, причина. А повод другой.

Сусляков (не сразу поняв). Ты отличница, что ли?

Лариса. Нет, я учусь неважно, почему-то не дается. Но Петя гово­рит: ты не отчаивайся, у тебя ученого ума не густо, зато природный, гово­рит, есть.

Сусляков. Петя у тебя авторитет?

Лариса. Он же старше на целых два года.

Сусляков. Верзила, наверное.

Лариса. Да, высокий.

Сусляков. А мой Вовка ростом не удался, это верно...

Секретарша приносит чай, ставит на стол.

Лариса. Спасибо.

Секретарша. На здоровье.

Сусляков (вынужден). Спасибо, Ирина Леонидовна. Секретарша (удивленно и даже радостно). Пожалуйста, Констан­тин Григорьевич! (Ушла.)

Сусляков. Так какой, ты говоришь, повод? (Достал из стола свер­ток, развернул.) Бери бутерброд, баранки.

Лариса (беря баранку). Спасибо.

Сусляков (ест бутерброд). Выкладывай.

Лариса. Вы извините, но все, по-моему, получилось из-за вас. Сусляков. Из-за меня?

Лариса. Да.

Сусляков. Интересно...

Лариса. Папа чувствительный...

Сусляков (мрачно). Ты говорила.

Лариса. А вы с ним... Только, пожалуйста, не сердитесь... Вы с ним грубы.

Сусляков. То есть?

Лариса. Мы смотрим, папа на глазах меняется. Понять не можем. Задерганный какой-то стал, нервный, по ночам стонет. А потом он, я слы­шу, говорит маме: «Не могу больше, не могу!»

Сусляков. Чего же это он не может?

Лариса. Не могу, говорит, больше с Сусляковым работать... Сусляков (мрачно). Ну, не может — подал бы заявление об уходе. Брось пить и плыви куда тебе нравится.

Лариса. Мама ему так и сказала. А он: «Я же, Шурочка...» Мою маму Александра Васильевна зовут...

Сусляков. Ты говорила.

48

Лариса. Извините... «Я же, говорит папа, я же здесь двадцать пять лет работаю, а Сусляков — всего ничего».

Сусляков. Так-так... Может, уж тогда мне заявление об уходе по­дать, а?

Пауза.

Я бы и подал, милая. Думаешь, швейная фабрика — рай? Подал бы! Да человек я подневольный. Куда назначили, там и тружусь. Подал бы!

Лариса. Если вы хотите, я могу пойти и попросить за вас.

Сусляков. Чего попросить?

Лариса. Чтобы вас освободили.

Сусляков. Что ты мелешь?!

Лариса. Простите... чтобы перевели на другую работу, получше. Вы скажите, к кому мне обратиться, кто вами заведует.

Сусляков (сердито). Мною, милая, никто не заведует.

Лариса. Я неправильно выразилась, извините. Ну... кто вами руко­водит...

Сусляков. Говори о деле.

Лариса. Я пришла попросить вас не разговаривать с папой грубо, не оскорблять его.

Сусляков. Когда это я оскорблял его, когда?

Лариса. Как — когда? Зачем вы ему, например, вчера сказали: «У тебя на плечах голова или кадка с капустой?»

Сусляков. Я не помню, что говорил. У меня дел выше горла, вся­кую мелочь не упомнишь. И какое же это оскорбление? Это замечание.

Лариса (горячо). У моего папы на плечах голова, а не кадка с капу­стой, так и знайте, голова! Папа наизусть половину Пушкина знает, поло­вину Лермонтова, половину Некрасова, даже прозу Гоголя. «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи» — минут двадцать подряд читает. Я всегда под этот рассказ засыпала, когда маленькая была. Он говорит мне, говорит... (Чуть не заплакала.) На той неделе вы папе ска­зали: «Катать бы тебе чурбаки, как та мартышка, а не в плановом отделе работать». Разве так можно?! И за что? За то, что вам папа какую-то, из­вините, липовую бумажку не согласился подписать.

Сусляков. Липовую? А тебе, доченька, папа не рассказывал, что без этой липы могут у рабочих премиальные в конце квартала калошей накрыться, а?

Лариса. Я не знаю...

Сусляков. А ты знай! Вы там в своих книжках одни идеалы да ин­тегралы учите.

Лариса. Мы учим, чему нас учат... На той же неделе вы при всех кричали на папу и назвали его килькой. Мой папа маленький, худенький. Может быть, он и похож на рыбку...

Сусляков. Да я на всех кричал, на всех!

Лариса. На всех — это меня не касается. Кто позволяет на себя кри­чать — значит, он того стоит. А папа из деликатности не может вам отве­чать. А дома...

Сусляков. Да что особенного, что?

Лариса. Как — что? Вы топчете его человеческое достоинство!

Сусляков. Чего топчу?

Лариса. А если у человека растоптать его человеческое достоинство, он и не человек будет, а так — на все способный. И на воровство, и на об­

49

ман. Он же не человек — без достоинства если. Или с горя сопьется, а мо­жет быть, и с собой покончит. (Еле сдерживая слезы.) Папа не может жить, когда его унижают. Пусть вы директор, а он только инженер...

Сусляков. Да все-то живут, живут!

Лариса. Аяне хочу!

Сусляков (встал). Ну, будет! Во-первых, ты не лезь, куда вашему брату еще не положено.

Лариса. Почему это не положено?! Это мой папа. Я совершенно свободно могу...

Сусляков (прерывая). А во-вторых, ты на фабрике хоть раз в своей жизни была?

Лариса. Была, на вашей, — на экскурсии.

Сусляков. Ну и как?

Лариса. Интересно. Только очень много грязи.

Сусляков. Где?!

Лариса. Ив пошивочной, и у закройщиков.

Сусляков. Уберут.

Лариса. Кого?

Сусляков. Не «кого», а «чего». (Поглядев на Ларису.) Нет, уж я сво­ему Вовке такую подколодную в жены не посоветую!

Лариса. А я бы и не пошла за него!

Сусляков. Чем же это он тебе плох? Погоди, к пятнадцати годам под потолок вымахает — твой Петька ему и до плеча не достанет.

Лариса. Все равно Петя его на два года старше останется. Этого уже и по большому блату не переменишь.

Сусляков. У меня шестьсот человек под началом...

Лариса. Константин Григорьевич, я знаю, что вы сейчас скажете: вы большую жизнь прожили, трудную, воевали, нервы расшатаны. Но мы­то в этом не виноваты. Вам расшатывали нервы, вы расшатываете нервы, мы будем расшатывать нервы. Кто-то должен остановиться?! Папа сказал: вы хотите ему вывесить выговор. Теперь, когда исполняется двадцать пять лет его работы...

Сусляков. За дело ему выговор, за дело!

Лариса. Нет! Папа сказал, что виноваты вы, а теперь ищете стре­лочника, на которого...

Сусляков. Ах, я виноват, я? Это по моей вине опять пошили двес­ти пятьдесят платьев одного фасона и одной расцветки, которые и по уце­ненным ни в одной деревне не берут? Это я планировал или твой папа?

Лариса. Папа говорит — предупреждал, не хотел, а вы сказали: по­ток нарушать нельзя, шей из чего есть. Приказали.

Сусляков. Знаешь что, Ларочка, катись-ка ты со своим папой!

Лариса. Что? Вот вы как говорите, вот?

Сусляков. Аяна хвост себе наступать не позволю!

Лариса. Я тоже! Я оскорблять и мучить своего папу не дам! Мама плачет, Никита где-то пропадает. Я не мама! (Встала, ходит по комнате.) Имейте в виду: если вы не перестанете кричать на папу, портить жизнь ему и всем нам, я вас в такое положение поставлю!.. Я такое устрою! Я туда пойду! Это что же такое? Как вы смеете! Туз выискался! Цаца какая! Не смейте на моего папу кричать, слышите?!

Сусляков (растерявшись). Тихо... Тихо...

Лариса. Нет, не тихо! Я буду громко! Пусть сюда кто угодно прихо­

50

дит. Имейте в виду: я в таком возрасте, когда мне ничего не страшно. Я в кружке авиадела занимаюсь. Я уже в кабине настоящего самолета сидела. Может быть, и в космическую ракету сяду! Я все могу. У меня расчета нет. Я вам такое сделаю! Вас потом и складским сторожем никуда не возьмут. Не смейте на моего папу кричать, слышите, не смейте! Да я... (Ивдруг те­ряет сознание, падает на ковер.)

Сусляков (в ужасе). Ай! Эй! (Зажимает себе рот. Подошел к Лари­се, поднимает ее с пола, сажает в кресло. Трогает рукой лоб.) Лариса... Ла­рочка... Лара... Ай-ай-ай... (Достает из кармана валидол. Подумав, прячет обратно. Достает нитроглицерин. Тоже убирает его в карман. Мочит пла­ток в воде, прикладывает ко лбу Ларисы.)

Лариса приходит в себя.

Ты что? С ума сошла? Ты что, дурочка?

Лариса. Извините, я как-то воздухом подавилась. Я больше не могу, у меня сил нет. (Зарыдала.) Я бы не пошла, но вчера он упал на лестнич­ной площадке, соседи видели... (Плачет.)

Сусляков. Тихо ты, тихо... Вот как ты папу любишь... Хорошая ты девочка! Так-то ведь не все папу любят. Это хорошо... Я не буду, слышишь, я больше не буду, Ларочка, обещаю.

Лариса. Я бы ни за что не пришла, но папа слабый, мама плачет, Никита...

Сусляков. Я все понимаю, все.

Лариса. Извините.

Сусляков. Ну ничего, ничего, бывает.

Лариса. Я, конечно, могла через вашего Вову действовать.

Сусляков. Как это, Ларочка?

Лариса. Ну, я бы ему все рассказала. Он бы с вами сам дома пого­ворил.

Сусляков. Ну, положим...

Лариса. Да, да! Если я захочу, он для меня все сделает. Хотите, до­кажу?

Сусляков. Ну не надо, не надо! Чего там доказывать. Не надо. Мать и так Володьке много воли дает.

Лариса. Вы извините, нам воли не дают, мы ее сами берем. Я не хочу через Вову. И нечестно, и вроде я у него в долгу буду.

Сусляков. Тихо, тихо... Я послежу за собой, постараюсь... Вот ты говоришь — кричу. А на меня в главке?

Лариса. Тоже кричат?

Сусляков. Нет, чего нет — того нет. Там, когда план не даем, или брак идет, или какие письма от трудящихся, там не кричат, там с тобой мягко, тихо. Только от этого мягкого голоса у меня, Ларочка, каждый раз по спине мурашки бегут, как от змеиного шипу. Производство!

Лариса. Понимаю... Извините, но я не могла к вам не прийти.

Сусляков. Я понимаю.

Лариса. Только, пожалуйста, папе не говорите, что я у вас была. Он этого не поймет, расстроится. Он несовременный.

Сусляков. Ясно! Могила! Ни полслова. Только уж и ты пойди мне навстречу: Вовке моему ни гугу, ясно? Он парень хороший, но тоже очень уж много от людей требует. А люди, Ларочка, они — люди. Все вы в этом возрасте... Эх! (Махнул рукой.) Скорей бы уж вы вырастали!

Лариса. До свидания! (Прощается с Сусляковым за руку.)

51

Сусляков. А что этот Петька, только на два года старше — и всего достоинств?

Лариса. Ваш Вова тоже хороший. Но он не в моем вкусе. До свида­ния. (Ушла.)

Сусляков (снимает телефонную трубку). Зинаиду Федоровну... Не узнал, быть тебе богатой... Зиночка, вот какое дело. Ты там выговор Пере- катову заготовила?.. Ага!.. Ну, порви его... Я решил, я и перерешил. Он оказался человеком опасным... Да-да, этот хлюпик... Чем?.. Оказывается, все, что у нас делается, носит... Куда? Людям, от которых мы зависим... Да нет, ты уж невесть что подумала... И не называй его хлюпиком, не надо... И вот еще что, Ларочка... то есть... Не кричи, не кричи, не будь глупой, Ларочка — это девочка... Да не в том смысле девочка. Это школьница, шестой класс кончает, с моим сыном на одной парте сидит... Так вот еще что, Зиночка. Я сегодня сразу домой пойду, кино отменяется. Жена зво­нила, ей нездоровится, да и с Вовкой поговорить надо. Что-то там у него не заладилось... Да нет, нет, учится он хорошо, мне с ним как мужчина с мужчиной поговорить надо. Так что не жди... Ну, потом сговоримся. Будь здорова, Ларочка... Тьфу! Зиночка!.. Зиночка!..

В трубке слышны короткие гудки.

Тьфу! Трубку повесила... (Кладет трубку.)

Голос автора. Я хочу объяснить, почему я назвал пьесу «Четыре капли».

Видите ли, иногда название пьесы возникает сразу. Бывает, что назва­ние рождается раньше самой пьесы — в голове вертится только одно на­звание. Случается и наоборот: пьеса готова, а название никак не придумы­вается. Так случилось со мной и на этот раз. Особенная трудность была в том, что здесь четыре пьесы в одной, как матрешки. Думал-думал, потом решил: маленькие они, капельные и, поскольку их четыре, назову «Четы­ре капли».

Но это формальный ход ума. Спектакль, пьеса — это непременно дол­жно быть что-то такое животворное, оздоровляющее... Вы замечали: про­читаешь хорошую книгу, и чувствуешь себя не только радостно, но и здо­ровее.

Еще когда я учился в театральной школе, нам говорили: спектакль тог­да хорош, когда те зрители, которые пришли в театр всем в жизни доволь­ные, уходят после представления чем-то обеспокоенные; а другие, кото­рые во всем отчаялись, так сказать, жить не хотят, ушли бы взбодренные, с верой в жизнь, с энергией: нет, мол, не все в жизни скверно, поживем, поборемся! Искусство — оно может быть и своего рода лекарством.

Вот я и придумал: хорошо бы и мои пьесы в какой-то степени кому-то хотя бы чуть-чуть помогли. Четыре капли...

Но потом мысль моя ушла в третье измерение. Говорят, в капле воды может отразиться весь океан. Я, конечно, об этом не мечтаю. Но хорошо бы и в моих капельках отразились какие-то определенные явления нашей жизни.

И последнее. Автор должен быть добр сердцем и уметь плакать. Мо­жет быть, эти четыре капли — это четыре мои слезы.

Квиты

Комедия характеров

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Денисов Михаил, 47 лет.

Селезнев Андрей, 47 лет.

Последняя электричка. В вагоне пустынно. Только два пассажира сидят друг против друга. Один грузный, плешивый, одет в добротный костюм темного цвета. Он, видимо, уже не в первый раз перелистывает журнал «Советский экран», вяло разгля­дывая фотографии. Другой — худощавый, в светло-сером костюме, со значком лауре­ата Ленинской премии на груди. Он дремлет, сложив на коленях сцепленные пальцы

рук.

Над головами у того и другого висят сетки с продуктами. У первого их даже две, одна битком набита апельсинами.

Плешивый, исчерпав журнальные впечатления, то глядит в окно, то шарит глазами по вагону, то рассматривает сетку с продуктами своего визави, то самого пассажира. Вдруг глаза его остановились на шраме над левой бровью попутчика.

Плешивый (уже пристальнее всматривается в лицо соседа, негром­ко и нетвердо). Миша!

Худощавый открыл глаза. Он не может понять: то ли его на самом деле окликнули, то ли собственное его имя пригрезилось ему во сне.

(Более уверенно и слегка улыбаясь.) Вы не Денисов Миша будете? Худощавый. Да.

Плешивый (глядя в упор и улыбаясь). Не узнаете?

Худощавый. Нет.

Плешивый (смеется). Ну узнай, Миша, узнай!

Худощавый (сон слетел с него. С некоторой неловкостью и замеша­тельством). Никак не вспомню...

Плешивый. Нехорошо. Неужели ничего я тебе не напоминаю? Ну? Худощавый. Извините, не могу догадаться. И не очень светло в вагоне.

Плешивый (смеясь). А я посвечу. (Вынул газовую зажигалку, зажег высокое пламя. Приблизил к соседу свое лицо.) Ну, разглядывай.

Худощавый (совсем смешавшись и даже несколько испуганно). Нет... А вы не ошиблись?

Плешивый. Здрасте! Откуда же я тебя по имени знаю? Ну гляди, гляди!

Смотрят друг на друга. Худощавый — с мукой во взоре. Плешивый — улыбаясь во весь рот. Глаза его горят хитрым счастьем.

53

Худощавый (пытаясь улыбнуться). Вы скажите, кто вы.

Плешивый. Ишь ты какой хитрый! Ни за что! Ай-ай-ай! И не стыдно? Вот сойду сейчас, исчезну, мучайся потом. Ну же, Миша, ну! (Смеется.) Если бы ты видел, какая у тебя сейчас физиономия! Ну!

Худощавый. Я не могу, извините...

Плешивый. А я не извиняю! Вспоминай. Да, это тебе не кроссвор­ды решать: река в Латинской Америке, великий русский путешественник на букву «Пы»! Ну?..

Худощавый. Наверно, в молодости где-нибудь по работе встреча­лись? В Днепродзержинске?

Плешивый. Холодно, холодно! (Хохочет.)

Худощавый. В Сибири, может быть?

Плешивый. А тебя что, тоже туда отправляли?

Худощавый. На Ангаре я работал.

Плешивый. Холодно, холодно! Мне Сибирь не позарез, мне и тут чудесненько.

Худощавый (его осенило). Учились вместе?

Плешивый. Тепло! Молодец! Тепло!

Худощавый. В школе?

Плешивый. Ну очень тепло, очень!

Худощавый (мучительно напрягаясь). В одном классе?

Плешивый. Жарко! Вот теперь совсем жарко! Ну?

Худощавый. Попов?

Плешивый. Э-э-э, Арктика! Антарктика! Снег! Лед, метель!

Худощавый. Карпов?

Плешивый. А что это у тебя за шрам над левой бровью?

Худощавый (счастливо). Селезнев!

Селезнев. А-а-а, сразу вспомнил! Я тебе о себе зарубку на веки веков оставил. А ты даже и не признаешь, ай-ай-ай! Андрей меня зовут, если запамятовал.

Денисов (он действительно забыл имя Селезнева). Нет-нет, не за­был, как же, Андрюша. Здравствуй, здравствуй, Андрюша! (Встал, протя­нул руку старому знакомому.)

Селезнев (здоровается сидя). Сиди-сиди! Ты тоже, прямо скажем, не помолодел и деформировался. Но я узнал. Во память! А лобик-то я тебе расколол помнишь по какому случаю?

Денисов (он помнит). Забыл.

Селезнев. Ая — четко! Где она сейчас?

Денисов. Кто?

Селезнев. Да что у тебя, действительно, с памятью делается? Туго? Я же тебя из-за Людки Брыкиной наказал. Помнишь? Ты мне — «хам», а я тебе — блям. Я ведь тогда не знал, что ты на нее тоже поглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я не поглядывал.

Селезнев. Брось, брось, у меня память как та машина, намертво! Взбесился-то тогда как, от злобы аж побледнел. Я тогда что-то про нее солененькое отмочил, а ты...

Денисов (желая переменить тему). Вы... ты где сейчас?

Селезнев. Тут, в Кратове, телеателье.

Денисов. Механик?

Селезнев. Нет, брат, заведующий, не хухры-мухры. А ты, я смот­рю, тоже в люди выбился!

54

Денисов. Ну...

Селезнев. Вижу-вижу! А костюмчик классный, и ботиночки, и во­ротничок. Этакий интеллигенток с иголочки. Служишь где?

Денисов. Да. Учился в Бауманском, потом...

Селезнев. А я, брат, воевал.

Денисов. Я тоже.

Селезнев (лукаво). Писарем, поди?

Денисов. Нет, ВУС-7, артиллерист. Представляешь, я — из пушки! Селезнев. Да, комично... А что у тебя за медалька?

Денисов. Это значок лауреата Ленинской премии.

Пауза.

Селезнев (слегка изменившимся голосом). Какой?

Денисов. Ленинскую премию мы получили в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом еще, трое.

Селезнев (показывая на медаль). Золотая?

Денисов. Кажется.

Селезнев. Что ж ты ее, не снимая, и носишь?

Денисов. Нет, не всегда. Сегодня была конференция.

Селезнев. Да... Смотри-ка... Я забыл, как твоего отца-то звали — Федор, кажется?

Денисов. Алексей.

Селезнев. Михаил Алексеевич, значит, будешь, вроде как русский царь?

Денисов. Царь был Алексей Михайлович.

Селезнев (заглаживая ошибку). Да знаю, знаю, учил, не забыл. Я и говорю — вроде царя, только наоборот. (Стараясь быть свободным.) А для меня ты как был Мишка, так Мишкой и останешься. Не царь, ясно?

Денисов. Конечно. У тебя тоже, наверное, за войну немало всяких знаков отличия.

Селезнев. Есть, есть, не обижаюсь. (Мрачнея.) В Москве живешь? Денисов. Да.

Селезнев. Квартира, поди, во! Три комнаты?

Денисов. Четыре.

Селезнев. А сколько жителей?

Денисов. Трое.

Селезнев. Ого, жирно!

Денисов. Сын был, теперь отделился, женат. Дочь тоже замужем. В гости ходит. Я дедушка.

Селезнев. Четыре комнаты на троих. Надо же! Неплохо! Денисов (как бы извиняясь). Да, квартира очень хорошая. Селезнев. Машину, поди, имеешь?

Денисов. Имею.

Селезнев. Своя или казенная?

Денисов. Ну, на работе казенная, а так — своя.

Селезнев. «Жигуль»?

Денисов. «Волга».

Селезнев (еще более помрачнев). Старая?

Денисов. Новая.

Селезнев. Да-а-а... Тоже не баран накашлял... (После маленькой паузы.) На дачу едешь?

55

Денисов. Да. Знаешь, за день голова как ватная делается. А за го­родом подышишь свежим воздухом и утром — ничего, опять варит.

Селезнев. А дача тоже своя или тоже казенная?

Денисов. Дача своя. У нас можно было и от предприятия, но, зна­ешь, в своей как-то уютнее.

Селезнев. Большая?

Денисов. Порядочная.

Селезнев. Таким, как ты, что! Хоть в два этажа могут вымахать. (С надеждой.) Финский домик имеешь, что ли?

Денисов (замявшись). У меня кирпичная. Можно сказать, именно в два этажа. Собственно, не два, а так — полтора.

Селезнев (глядя на Денисова почти с презрением). Да-а, силен... (После паузы.) Что же ты не на машине, а на электричке трясешься?

Денисов. Тормоза барахлят. Чинят.

Селезнев. От станции далеко?

Денисов. Минут двадцать пять ходу.

Селезнев. Не боишься? Ночь.

Денисов. Сын встречает. Я позвонил.

Селезнев. Куда?

Денисов. На дачу.

Селезнев. У тебя там телефон?

Денисов. Да, есть.

Селезнев. А охрана тебе по должности не полагается?

Денисов (смеется). Чего нет, того нет.

Селезнев. Загребаешь, поди, дай бог?

Денисов. Что загребаю?

Селезнев. Красненькие, фиолетовые, коричневые больно хороши, ну, сторублевки-то.

Денисов. А-а-а... Да, я зарабатываю очень хорошо.

Селезнев. Не то что мы, грешные. О равенстве-то только в песен­ках поем да по телевизору показываем.

Денисов. К сожалению, у нас еще не коммунизм, чтобы всем по потребности.

Селезнев. Да не оправдывайся ты, не оправдывайся, я же тебя не упрекаю.

Денисов. Я, собственно, не оправдываюсь. И, знаешь, Андрюша, не в деньгах счастье.

Селезнев (смеется). Мишка, не надо, Мишка, нехорошо!

Денисов. Почему?

Селезнев. Потому что у тебя их навалом, ты такое и лопочешь. Милый, денежки не бог, но полбога.

Денисов. Я серьезно.

Селезнев. Ия не шучу. Не юродствуй, тебе говорю, нехорошо.

Денисов. До некоторой степени я могу говорить это со всей ис­кренностью. Ты помнишь, как я жил, помнишь? Мать почту носила, отца уже не было. Все: «Мама, дай кусочек, мама, есть хочу». А я не забыл. И все-таки я был счастливым. Первые книги, первые друзья, школа, река, рыбная ловля. Да просто целый мир «и пара коньков в придачу» — по­мнишь у Андерсена? — и все твое. Уверяю тебя, Андрюша, счастье внутри человека, не вне его.

Селезнев. Ая тебе скажу: это философия сытого и вся ее начинка.

Денисов. А когда в институте учился, тоже, знаешь... По ночам на

56

разгрузке, уроки давал... А на душе всегда было тепло и что-то пело. Не в деньгах счастье, Андрюша.

Селезнев. Ты с этим, Миша, от бюро пропаганды лекции читай, хорошо платить будут. Может быть, когда-нибудь раньше, когда люди были на низшей ступени развития, такая мура кого-нибудь и утешала, а теперь дураков нет. Теперь у человека другая стадия развития, более высо­кая, и запросы у него растут. Теперь все знают — где, что, почем, а если нет — где достать. И не к лицу тебе такое говорить. Вот если бы я сказал, я, простой человек...

Денисов (улыбаясь). Так ты же этого не говоришь.

Селезнев. И не скажу, потому что это глупость... Ладно, ты и ма- ленький-то хитрый был. Учительница, бывало, спросит: «Кто хочет доба­вить?» — ты ручку тянул, все добавлял. Это, значит, тебе все блага за ту самую добавку, да?

Денисов (пытаясь смеяться). Ты прав. Видимо, за это. Я любил учиться. Кончил Бауманский, потом...

Селезнев. Да говорил ты уже, говорил про Бауманский... Нет, Миша, ты мне мозги не пудри. Я хоть твой Бауманский и не кончал, но тоже голову на плечах имею, и не опилками она набита. Если глазами да ушами попусту не хлопаешь, тоже, брат, все видишь и слышишь. Высшую, так сказать, школу на ходу заканчиваешь... Умел ты, значит, по жизни лов­ко пройти — где верхом, где пешком, а где и вприпрыжку, а то и на брюхе ползком, если понадобилось. Так ведь говорю, да? Знаем мы, дорогой, как умные люди живут. Знаем, но не умеем. И рады бы, как говорится, в рай, да грехи тянут. Да я тебе откровенно скажу: душу пачкать неохота. Мы со­весть ценим, прямоту, правду-матку. Зато спим спокойно.

Денисов (пытаясь пошутить). Ты тоже, кажется, неплохо живешь. Вот целую сетку апельсинов накупил.

Селезнев (уже с неприязнью). А мои детки, Миша, тоже дети, а не насекомые, им тоже витамины требуются.

Денисов. Ты меня уж как-то совсем криво понял.

Селезнев. Да все я, Миша, понимаю, все. Не считай за недоразви­того, хотя я и не лауреат!

Денисов. Чудак ты, Андрей.

Селезнев. На чудаках, Миша, мир держится. На чудаках да на та­ких простых людях, как мы, трудяги. У нас государство правильно курс держит — на трудяг, на нас, то есть, потому что, Миша, мы, а не вы — соль земли. Мы, масса, народ. Ясно тебе или уже позабыл?

Денисов. Почему же позабыл?

Селезнев. А потому что, когда там, по верхам-то, летаешь, может, голова от разреженного воздуха кругом идет. Мол, я птица райская, глав­ный человек. Но мы, Миша, за райскими такими птицами внимательно смотрим. В случае чего, ежели уж очень высоко залетел да не ту песенку засвистел, мы снизу, так сказать, из берданки хлоп — и ты опять на земле. Чтоб не забывал. Помнил. А если перышки помнем, не сердись. Руки у нас грубые, потому что в мозолях. Мы пищу себе руками добываем, не ваши­ми там всякими умными хитросплетениями. Так что хоть ты, Миша, и ла­уреат, но и я тоже кой-кто есть. Ясно? Нет?

Денисов (смеется). Крепко ты, Андрюша, все эти основы усвоил. И своеобразно.

Селезнев. И не забуду. А то, знаешь, такое уж неравенство пошло,

57

смотреть больно. Ты вот, наверно, тоже сейчас думаешь: сидит против тебя твой школьный друг — лапоть лаптем...

Денисов (искренно). Да как тебе не стыдно! Ничего подобного я не думаю. Во-первых, по моей, так сказать, домашней философии люди в своей человеческой сущности рождаются на свет абсолютно равными...

Селезнев. Что это значит — по твоей философии? У тебя что, своя философия имеется, отдельная, не наша общая?

Денисов. Я не в прямом смысле...

Селезнев. В кривом, значит? Смотри, Миша! Ладно, не юли, ска­жи мне просто, по-товарищески, только не лукавь: честно ты свою жизнь прожил? Как советскому человеку положено, а? Без сучка, без задорин­ки?

Денисов. Ну, Андрюша, один Бог без греха.

Селезнев. Вона как откровенно! Ценю. Только я про себя скажу. Не знаю, как там твой Бог, у меня его нет, а я свою жизнь прожил честно.

Денисов. И хорошо. На душе легко.

Селезнев. Да в кармане, милый, пусто. Живешь в обрез. Вот, к примеру, дочке хочу пианино купить. Коплю-коплю, а все не тянет. Девоч­ка способная, слух, говорят, есть, играла бы да играла. А шуршиков нема, как теперь говорят. Еще сотни две подкопить требуется. Голова-то и дума­ет. Тебя, поди, такие заботы не гнетут. Полез в бумажник, раскрыл, выта­щил...

Денисов. Андрей, ты не рассердишься?

Селезнев. На что?

Денисов. Только, пожалуйста, не обижайся, ладно?

Селезнев. Да ты говори — что.

Денисов. Можно, я тебе предложу эти деньги? У меня как раз с собой есть, я получил.

Селезнев. Двести рублей хочешь дать?

Денисов. Да.

Селезнев. И тебе не стыдно?

Денисов. Ну что особенного? Отдашь, когда будут.

Селезнев. Да уж отдал бы, отдал, не беспокойся, не зажал бы, не украл.

Денисов. Возьми. (Достает бумажник.)

Селезнев (грубо). Положи обратно, положи, слышишь?

Денисов. Я от души...

Селезнев. Да душа-то у тебя, дорогой, черна. И не стыдно?

Денисов. Честное слово...

Селезнев. Я спрашиваю: не стыдно, а?

Денисов (пряча бумажник). Стыдно, Андрюша, извини. Но, пожа­луйста, не думай...

Селезнев. Неужели ты не понимаешь, Миша, что этим своим цар­ским жестом унижаешь?..

Денисов. Как ты так можешь?! И в мыслях не было тебя унижать.

Селезнев. Себя, себя унижаешь, милый, себя, не меня.

Маленькая пауза.

Бумажник-то как набит. А уж на сберкнижке, поди, представляю...

Денисов (робко смеясь). Я и говорю, возьми, от меня не отвалится.

Селезнев. А вот возьму и возьму. Тогда что скажешь?

58

Денисов. Скажу, что хорошо, и буду рад. (Полез за бумажником.)

Селезнев. Погоди! Не лезь, не лезь. Обрадовался! И где у тебя со­весть! Не лезь, я подумаю. (После паузы.) Ну ладно, для интереса возьму. Давай, леший с тобой.

Денисов (быстро достает бумажник и оттуда деньги). Вот, пожа­луйста.

Селезнев (не беря). Погоди, не суй, я еще не решил, думаю. Не хочется мне тебе радость доставлять. Да как вспомню, что ребенок паль­чиками своими по этим белым косточкам бить будет... Ну что деньги-то держишь, вытянул. Ладно, давай. (Берет деньги, пересчитывает.) Беру против охоты, помни. Только ради ребенка. И вскорости отдам, не бойся.

Денисов. Яине боюсь.

Селезнев (смеется). Да ведь я по глазам всю твою психику вижу, хоть и не так светло. Эх, Миша, Миша, сделал я на тебе зарубку, а может быть, тогда тебя, в детстве еще, убить надо было. Для блага общества. Для равенства. Ну-ну, шучу, не сердись. Ползай! (Снял сетки с крючка.) А сколько такая медаль стоит, а?

Денисов. Я не знаю, торговать ею не собираюсь, не приценивался.

Селезнев. Нацепил, чтобы все видели: вот, мол, я, лауреат, шире дорогу! (Поддел медаль пальцем, качнул ее.)

Денисов. Не тронь!

Селезнев. Что? (Держит медаль пальцем.)

Денисов (резко). Убери, говорю, руку!

Селезнев (держится за медаль. Лицо злобное). А я не уберу.

Денисов. В последний раз говорю.

Селезнев тянет медаль, видимо, хочет ее сорвать с груди Денисова.

Я тебе сказал, хам! (И вдруг наотмашь бьет Селезнева по лицу.)

Селезнев. Ты что?.. (От растерянности плюхнулся на лавку. Апель­сины покатились по полу вагона.) Вы что?..

Денисов. Ты что, мерзавец, забылся? Вести себя не умеешь? Так я тебя научу! (В ярости и гневе, очень гордо.) Ты не забывайся. Кто бы ты ни был, на какой бы ступени развития не стоял, обязан с людьми разговари­вать по-человечески, а не по-собачьи. Не по-собачьи, понял?

Селезнев. Миша... Михаил Алексеевич, да вы что? Михаил Алек­сеевич, я так... дурил просто... вы не подумайте... друг детства... Да я... Я никогда против не выступаю... Я вас уважаю... Это я растерялся... Мне приятно — в одном классе учились... друзья... и вы не подумайте. Это я от радости, что у меня такой друг... Я в Кратове живу. Лесная, семь. Если бы заехали... Ведь по пути. У меня тоже домик... порядочный... фиолетовой краской выкрасил... Красиво. Зашли бы, мне бы приятно было. Соседи бы увидели, кто идет... Алексей Михайлович, то есть Миша, то есть...

Денисов (уже остыл, но холодно). Мне выходить. До свидания, Ан­дрей. Считай, что я тебе ту оплеуху вернул. Квиты. (Смотрит на лицо Се­лезнева.)

Селезнев. Ты что?

Денисов. Смотрю, не поцарапал ли, как ты меня тогда. Дай зажи­галку.

Селезнев вынул зажигалку, осветил свое лицо.

Нет, кажется, чисто.

59

Селезнев. Так у меня тогда железяка в руке была.

Денисов. Извини, что апельсины рассыпал. (Помогает Селезневу собрать апельсины.)

Селезнев. Да что ты! Не надо! Перепачкаешься.

Денисов. Будь здоров, Андрюша. Еще раз: извини. (Пожал Селез­неву руку и пошел к выходу.)

Селезнев (ползает по полу, собирает апельсины. Вслед Денисову). Пока! Рад, что тебя встретил, Миша, горжусь! Лауреат! (Широко раскинул руки и почти с восторгом.) Это надо же! Лауреат!..

Денисов скрылся в тамбуре.

*Конец первого действия*

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Пошел занавес, и сразу же раздается голос автора.

Голос автора. Вы замечали, товарищи, происходит какая-то по­разительная электризация людей? Стоит только соприкоснуться, искры так в тебя и сыплются, так и летят, так и бьют. И в автобусе, и из-за при­лавка, и на работе... И ведь больно, страдаешь. Все люди чрезвычайно ра­нимы. Зачем это?

Может быть, я преувеличиваю; может быть, эту ранимость я чувствую особенно болезненно. Не знаю, вполне возможно. Видимо, из-за того, что за свою жизнь я встречал так много доброты, участия, сердечности, что всякое проявление бесчеловечности режет мне глаз. А ведь по моей до­машней философии нет ничего важнее и лучше, чем добрые человеческие отношения. И с попутчиком в поезде, и дома в семье, и на работе. Тогда жить спокойно, уверенно, радостно.

Человеческое тепло тоже лечит. Вы, вероятно, знаете, что в больницах, в палатах, где самые тяжелые больные, в дежурства особо добрых и состра­дательных сестер и нянь умирают гораздо реже, чем в дежурства пусть де­ловитых, но холодных сотрудников. Отчего это происходит, никто не зна­ет. Тайна. Но факт. Я на себе это испытал.

Было это давно, во время войны. Меня, тяжелораненого, шесть суток везли с фронта до госпиталя во Владимире, а кровь все текла и текла, и шесть суток я не закрывал глаз. Боль, боль, боль!..

Госпиталь во Владимире помещался в старой церкви. Меня обмыли и положили на полу в подвале под сводами и накрыли простыней. Я, когда меня мыли, поразился, увидав себя без одежды. Самыми толсты­ми местами ног и рук были колени и локти, остальное — трубочки костей. Только разбитая нога вздувалась лилово-синей громадой от газовой ганг­рены, которая подползала уже к животу. Закрыли простыней с головой.

Помню, сестра с железным передним зубом осторожно приподняла с лица простыню, удивилась, что я жив, и как-то застыла с чувством страха, недоумения и сострадания на лице. Я шепнул: «Плохо мое дело, сестра?» Она жалко улыбнулась — тут-то я и увидел ее железный зуб — и от расте­рянности даже не солгала святой врачебной ложью, а кивнула головой и сказала: «Да».

На операционном столе женщина-врач спросила моего согласия от­сечь ногу выше колена. Я это согласие дал немедленно, не задумываясь. Никакого расчета у меня не было, никаких острых и сильных эмоций я не испытывал, надо, так надо, о чем и говорить. После моего согласия на ампутацию я услышал резкое: «Маску!» — и мне на лицо сестра положила маску с эфиром и хлороформом.

«Считайте!» Я вдруг сделал усилие, прижал маску к лицу руками и бы­стро засчитал: «Раз, два, три...» На счете «шесть» все поплыло. Последнее, что я услышал, — тот же властный женский голос: «Скальпель!» — с уда­рением именно на звуке «е» в этом слове. А затем наступило сладкое бла­женство. Больше всего на свете мне хотелось спать, и я наконец уснул.

61

Незаменимый

Комедия положений

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Воронятников Авдей Валентинович, 55 лет.

Чашкина Евдокия Федоровна, 53 лет.

Семин Григорий Яковлевич, 26 лет.

Похожий на красный уголок кабинет начальника цеха. В кабинете — Воронятни­ков. Он и есть начальник.

Быстро входит Чашкина.

Чашкина. Пришел. Получай сокровище... (Кивает на дверь.)

Воронятников. Не хочу я с ним говорить, противно. Выгнать его с завода к чертовой матери сразу и навек! О чем говорить!

Чашкина. Не пыли, не пыли! Я себе за правило взяла: пусть тому плохо будет, кого я наказать хочу, а не мне. А то не бережем мы себя, рас­ходуем щедро.

Дверь приоткрылась. Не входя в комнату, просунулся Семин.

Семин (широко улыбаясь). Здравствуйте, Авдей Валентинович!

Воронятников (резко). Закрой дверь, я занят.

Семин аккуратно прикрыл дверь.

Чашкина. Вызвал, так уж чего...

Воронятников. Пусть сидит! Пусть ждет! Пусть томится! Я его попытаю!

Чашкина. Да не трави ты себя, не трави! Его трави.

Воронятников. Он думает: чего его левая ноздря захочет, то и подай?! Распустился! Ничего, соберу в комок! Ты мне объясни, Дуся, как можно без всяких уважительных причин три дня подряд прогулять? Ты бы могла так поступить, да еше улыбаться?

Чашкина. Нет, конечно.

Воронятников. А он может! А? Распустился!

Чашкина. Да что ты на меня-то кричишь, ты на него кричи, если уж зашелся.

Воронятников. Вот своей бы этой рукой взял за шиворот и — прямо за ворота!

Чашкина. А кто вместо?

Воронятников. И волчий билет! Чтоб никуда, никогда, ни при каких! Разве что отхожие места чистить.

62

Чашкина. Перестань.

Воронятников. Строгий выговор. Согласна?

Чашкина. Согласна.

Воронятников. С предупреждением.

Чашкина. За.

Воронятников. Ты его поганую рожу хоть с аллеи передовиков сняла?

Чашкина. Сказала.

Воронятников. А то вхожу во двор, и первое личико — его. Да еще улыбается во все зубы. И зубов-то у него, видать, не тридцать два, как у людей, а штук двести, как у крокодила. Какой дурак рисовал!

Чашкина. А ты когда входишь, налево не смотри, а сразу направо, где наши достижения показывают.

Воронятников. Остришь, что ли?

Чашкина. Серьезно.

Воронятников. То-то! Я еще Семена Ильича попрошу, чтобы его тринадцатой зарплаты лишили. Премиальные ему пусть и во сне не снят­ся, это уж само собой...

Чашкина. Ну, относительно премиальных...

Воронятников. Ничего, ничего... Все равно вдвое больше моего зарабатывает... Что бы ему еще придумать, Дуся?

Чашкина. Вроде бы все исчерпал.

Воронятников. Еще надо... в стенгазету о нем фельетон. Да, Пятнашкину закажем, он сделает.

Чашкина. Пятнашкин о нем в прошлом месяце панегирику напи­сал, до небес поднял.

Воронятников. Да, спел, дурак, арию. Вот уж поистине: заставь богу молиться — он и лоб расквасит. Ничего, если на журналиста хочет, пусть учится, должен быть гибким.

Чашкина. Другому закажем.

Воронятников. Пятнашкина читать любят, у него талант. Лучше бы он.

Опять в дверь заглядывает Семин.

Семин (улыбаясь). Я тут, Авдей Валентинович.

Воронятников (рявкнул). Закрой дверь, тебе сказано!

Семин исчез.

Чашкина. Да зови ты его, зови, будет тебе!

Воронятников. Не могу! Как увижу его личико, плохо делается. Ты ему скажи, чтоб он не улыбался больше.

Чашкина. Сядь, остынь.

Воронятников хотел что-то сказать, но Чашкина не дала.

Посчитай до тысячи, Авдей. Молчи и считай. Молчи. Считай.

Пауза.

Ну?

Воронятников. Что?

Чашкина. Сколько насчитал?

Воронятников. Семь.

Чашкина. Да ты не так медленно!

Воронятников. Я не медленно. Но я до трех досчитал, а в уме мелькнуло: хорошо бы ему еще знаешь какое наказание придумать...

63

Чашкина. Зови. (Пошла к двери.)

Воронятников. Ты уходишь?

Чашкина. Нет, тут буду.

Воронятников. Да уж не уходи. Пускай!

Чашкина (открыла дверь). Семин, входи!

Никто не входит.

Семин!

Ответа нет.

Гришка! (Вышла за дверь и скоро вернулась.)

Воронятников (недоуменно). Где он?

Чашкина. Сказали — в буфет пошел, ситро выпить. Воронятников (задыхаясь от гнева). Ай-ай-ай-ай-ай! (Ходит по комнате.) Знаешь, я теперь психику тех, которые убивают, понимаю. Чашкина. Да сам же ты ему сказал: погоди.

Воронятников. Он и должен ждать, а не в буфете опохмеляться! Он там будет ситро лакать, эскимо облизывать... а мы... (Задохнулся.) Чашкина. Сейчас позовут его, я сказала. Подождем. Воронятников. Ну что ж, подождем их превосходительство. Нам ведь и делать нечего, как их ждать. До чего же мы их... (Чуть не заплакал.) До чего же мы' их распустили, Дуся, этих незаменимых. Так вознесли, что и самим уж не достать. Ничего, я дотянусь!

Стук в дверь.

Кто там?

Семин (приоткрывая дверь). Разрешите войти?

Чашкина. Входи.

Семин входит. Он большой, румяный, молодой, счастливый.

Семин. Теперь можно?

Чашкина. Я тебе сказала — можно.

Семин (аккуратно прикрыл дверь). Здравствуйте, Авдей Валентино­вич.

Пауза.

(Робко и мягко.) Я говорю, здравствуйте, Авдей Валентинович. Воронятников (быстро). Здравствуй-здравствуй.

Пауза.

Достукался?

Семин молчит.

Что скажешь?

Семин молчит.

Улыбаешься, значит?

Семин. Это я от смущения, Авдей Валентинович. Воронятников. Знаешь, что тебе по заслугам положено? Семин. Угадываю.

Чашкина. Говори, Григорий, не валяй дурака.

Семин. Чего говорить, все ясно.

Воронятников. Вот именно.

Семин. Виноват.

64

Воронятников (взревев). Ты со мной как с милиционером не надо: виноват, товарищ начальник, виноват, простите. Эту вашу тактику мы давно освоили. Ты понимаешь, в какое положение всех поставил?!

Семин. Чувствовал.

Воронятников. В конце месяца! В конце квартала! Мы все жили как каторжные, как проклятые... Никогда еще так туго не было.

Семин. Я понимаю. Если бы в начале месяца, тогда, собственно, и говорить было бы не о чем. Я и сам переживал: как, думаю, вы тут без меня...

Воронятников. Четыре дня осталось до первого, четыре! Ты это соображаешь?

Семин. Я попробую... постараюсь...

Воронятников. Нет у меня, Григорий Яковлевич, для вас слов. Есть, да в горле сидят, не выскакивают. А уж если выскочат...

Чашкина. Авдей Валентинович!

Воронятников. Почему ты прогулял, Семин?

Семин (расплылся). Сын родился...

Воронятников. У всех дети рождаются.

Семин. У меня первый.

Воронятников. У всех сначала первый, потом пятый, потом со­рок девятый. Вон у Шамарина тоже третьего дня ребенок родился — Ша- марин не прогулял.

Семин. Так у него девочка... Я и сам не знаю, как это вышло...

Воронятников. Чего не знаешь?

Семин. Меня, понимаете, ошарашило...

Воронятников. Чем это тебя ошарашило — пол-литром?

Семин. Нет. И как человек устроен!.. Ну, думаю, будет ребенок, и все. А как узнал, будто во мне что-то перевернулось. И весь свет по-друго­му представился. Так весело было!

Воронятников. Наверное, не скучал. Я вот, например, когда у меня сын родился, не то что не прогулял — и в мыслях не было.

Семин. Так это вы. Потому вы начальник, а я рядовой.

Воронятников. Не смей!

Семин. Что?

Воронятников. За дурака меня считать. Знаешь, милый, почему я не прогулял?

Семин. Вы другой человек.

Воронятников. Брось, тебе говорю, брось, человек я такой же, как все. А в наше время за двадцать минут опоздания знаешь что было?

Семин. Что?

Воронятников. Ладно, я тебе историю преподавать не буду. Сам читай, развивайся. Ты понимаешь, что ты за свое удовольствие теперь по­лучишь?

Семин. Понимаю.

Воронятников. Мы вот тут посоветовались: строгий выговор с предупреждением. Не возражаешь?

Семин. Нет.

Воронятников. Премиальные — пусть и не снятся. Это тоже до­веди до сознания.

Семин. Ясно.

Чашкина. Вот, Гриша, в какое ты себя положение поставил. Хоте­ли тебя к премии, благодарность вынести.

3 Зак. №1048

65

Воронятников. Портрет с аллеи сымаем.

Семин. А куда его?

Воронятников. Кого?

Семин. Портрет-то.

Воронятников. Можем на память подарить. Повесь дома на стенку или сверни в трубочку и храни как память о лучших днях жизни. Работу попроще будешь получать, о толстом рубле и не думай.

Семин. Ну уж, Авдей Валентинович... У меня теперь увеличение семейства, а вы... Вон в Болгарии — как ребенок родился — пособие. И рождаемость стимулирует, и справедливо. Хоть небольшой, а рот.

Воронятников. Зря вас за рубежи пускают. Не те впечатления вы оттуда привозите.

Семин. А я туда не сам просился, меня для обмена опытом посыла­ли. Мне бы еще и в Соединенные Штаты съездить. Там, говорят, кое-что посмотреть можно.

Воронятников. Знаю, чего тебе наглядеться хочется. Стриптиз.

Семин. Зачем мне стриптиз, у меня жена есть. Я бы технику по­смотрел.

Воронятников. А зачем тебе смотреть? С твоим-то отношением к делу? Ты бы попробовал там, в своих Соединенных Штатах, на заводе три дня прогулять, что бы тебе было, а?

Семин. Так ведь там капитализм.

Воронятников. То-то! На таких, как ты, не капитализм надо, а прямо феодализм... Ладно, не отвлекай. На тринадцатую получку тоже особо не рассчитывай, может, и обойдут.

Семин молчит,

Вот, значит, Григорий Яковлевич, какая у тебя теперь программа жиз­ни будет. Усек?.. Что задумался? Может, я тебя обидел, а?

Семин (раздумывая). Вроде нет. Все правильно.

Воронятников. В таком случае, разговор окончен, товарищ Се­мин, иди. Что стоишь? Вопросы есть?

Семин. Нехорошо все...

Воронятников. Сочувствую.

Чашкина. Ты, Гриша, очень не огорчайся. Докажешь трудом — и портрет обратно повесим. А премии уж само собой пойдут.

Семин (враздумье). Нехорошо...

Чашкина. Что нехорошо, Гриша?

Семин. Стыдно.

Воронятников. Ты бы со своей совестью раньше советовался — до прогула.

Семин. Можно у вас, Авдей Валентинович, листочек бумаги попро­сить?

Воронятников. Чего-чего — бумага есть, не жалко. (Протягива­ет Семину листок бумаги.) На!

Чашкина. Зачем это тебе, Гриша?

Семин (Воронятникову). Можно, я тут присяду и вашей ручкой вос­пользуюсь? Свою обронил где-то.

Воронятников. Садись, если приспичило. Завещание, что ли, сочиняешь?

66

Семин. Я, Авдей Валентинович, заявление об уходе хочу написать. (Присел к столу, взял ручку, положил лист бумаги на стол.) Кому писать надо, Евдокия Федоровна?

Чашкина. Ну что ты... заявление... с чего это?

Семин. Стыдно...

Воронятников. Гулять тебе не было стыдно.

Чашкина. Погоди, Авдей. (Семину.) Чего тебе стыдно, Гриша?

Семин. Портрет снимут — все ехидничать начнут, острить. Ага, мол, достукался. Мне и так Переверзев Алексей говорит: чего это ты детей за­водить вздумал, от них одни неприятности. У него трое.

Чашкина. Глупости он говорит.

Семин. В дирекцию или в отдел кадров писать?

Воронятников (Чашкиной). Ему не стыдно, Дуся, нет, его по са­молюбию ударили: как же, носились как курица с яйцом, а теперь по носу.

Чашкина. Я говорю, погоди, Авдей, помолчи!

Семин. Конечно, и самолюбие.

Воронятников. Ага! Гонору в таких, как ты, полный пузырь на­качали, распирает.

Чашкина. Авдей!

Воронятников. Чего — Авдей, чего — Авдей! (Семину.) Я тебе неправильно все меры взыскания нарисовал?

Семин. Правильно. Я же не возражаю.

Чашкина. Так чего же?

Семин. Я уйду все-таки.

Воронятников. Куда ты уйдешь?

Семин. На изоляторный. У меня там дружок. Он и то говорит: что ты на своем ишачишь, присох, что ли, у нас на целых двадцать пять боль­ше получать будешь, иди к нам.

Воронятников. Вот, Дуся, вот! У них у всех одна арифметика в

уме.

Семин. Нет! Я ему как раз говорил: не пойду. Но теперь, видать, судьба.

Воронятников. Дуся, судьба у него! Ты слышишь, у него судьба! Ах бедный, несчастненький он! Судьбинушка ты горькая! (Кричит.) Это у меня судьба, не у тебя! Иди, иди на свой изоляторный, там ты нас еще вспомнишь!

Семин. Да вы не нервничайте, Авдей Валентинович, я же сказал — ухожу. (Пишет.)

Чашкина. Чего ты пишешь, Григорий, чего?

Семин. В дирекцию решил.

Чашкина. Выйди-ка отсюда на минутку. Выйди, выйди, мне с Ав­деем Валентиновичем конфиденциально надо.

Семин пошел к двери.

Оставь бумагу, потом допишешь. И не отходи далеко.

Семин. Слушаю. (Ушел.)

Воронятников. Ты чего?

Чашкина. Я прошу тебя: сиди и молчи. Уйдет он.

Воронятников. Нуиклешему!

Чашкина. Я тебя понимаю, Авдей. Но сейчас все. Ша! Семин наш, никуда его отпускать нельзя. Ты же знаешь, у него руки золотые. Как без него будем?

67

Воронятников молчит.

То-то. Остынь.

Воронятников. Как же можно...

Чашкина. Да если Иван Никитич узнает, что ты Семина упустил...

Воронятников. Иван Никитич в отпуске.

Чашкина. А приедет? Семин тебе сказал: поднажмем, вывернемся. А без него? Молчи, Авдей, молчи! Портрет его заел. Черт с ним, оставим портрет, пусть висит, его самолюбие тешит. Хватит и строгого выговора.

Воронятников. С предупреждением.

Чашкина. И премиальными стукнем. Разве мало?

Воронятников. Ладно, черт с ним, пусть висит.

Чашкина. И помолчи.

Воронятников. Попытаюсь.

Чашкина. Уткнись в бумаги, будто дело делаешь. Сама договорюсь. (Пошла к двери, открыла.) Семин, входи.

Семин (входя). Можно?

Чашкина. Можно. Мы тут посоветовались с Авдеем Валентинови­чем, решили пойти тебе навстречу: портрет оставим. Парень ты молодой, тем более теперь — отец семейства. Ставить тебя в положение не хотим.

Семин. Спасибо, Евдокия Федоровна. И вас благодарю, Авдей Ва­лентинович.

Воронятников будто не слышит, уткнулся в бумаги.

Спасибо вам, Авдей Валентинович, говорю.

Воронятников. Слышу, слышу, не глухой. Виси на здоровье, сра­мись.

Семин. Почему же «срамись»?

Воронятников. А потому что скажут: вон, посмотрите на этого гулену, у которого выговор с предупреждением. Улыбка-то твоя зубастая там в самый раз будет. Смех! Ну поблагодарил — и ступай. Надеюсь, по­ступок свой прочувствовал.

Семин. Нет, Евдокия Федоровна, уйду я все-таки!

Чашкина. Куда?

Семин. На изоляторный.

Чашкина. Ну чего ты, сказали — портрет оставим, значит — оста­вим.

Семин. Авдей Валентинович справедливо подметил: какой же пор­трет, когда строгий выговор, да еще с предупреждением. Смех!

Чашкина. Гриша, у тебя же проступок: три дня. Это же справедли­во.

Семин. А я разве говорю, что несправедливо? Конечно, справедли­во: не гуляй, так тебе и надо.

Чашкина. Ну так что?

Семин. Все равно срам. С предупреждением...

Воронятников. Может, тебе без предупреждения охота?

Семин. Это уж как пожелаете. (Садится к столу, пододвигает к себе листок бумаги.)

Чашкина. Что ты сел, что?

Семин. Напишу. По желанию надо, да?

Чашкина. По какому желанию?

Семин. По собственному.

68

Чашкина. Погоди!

Семин. Чего ж годить, Евдокия Федоровна... Конечно, все в меня тыкать будут: огреб, мол, выговор, достукался... Я все-таки передовой, мне обидно.

Воронятников. Обидно ему, Дуся, обидно!

Чашкина. Авдей!..

Воронятников (резко вскакивая из-за стола). Да я его!..

Чашкина (перекрикивая). Семин, выйди.

Семин (встал). Совсем уйти?

Чашкина. Нет, жди, я позову. Далеко не ходи.

Семин вышел.

Ну кто тебя за язык тянул дразнить его?

Воронятников. Я? Его? Дразнил?

Чашкина. Он же самолюбивый.

Воронятников. Ая нет? У меня кожа, как у слона? Нет, не кожа, кора дубовая! Он самолюбивый? Он бессовестный, а не самолюбивый. Был бы самолюбивым, честь бы свою берег, вот что!

Чашкина. Мы же в безвыходном! Четыре дня осталось, а он может. Ты пойми, он всех спасет: и тебя, и меня. Всех! Да и нельзя его отпускать. Таких по всей стране с огнем ищут, с руками рвут. Ты же все лучше моего понимаешь. Снимем с него это — с предупреждением, можно и просто — выговор. Подумаешь! Что значит — с предупреждением? Так, пустое сло­во. Не цепляйся. Выговор — это крепко. (И, не дожидаясь согласия Воро- нятникова, крикнула в дверь.) Семин, войди!

Вошел Семин.

Сядь. Да не к столу, а сюда. Снимает с тебя Авдей Валентинович «с предупреждением». Он добрый, душа-человек. Все! Иди, Гриша, работай. (Видя, что Семин о чем-то думает, быстро.) Мальчика-то как назвали?

Семин. Пантелеймоном.

Чашкина. Как?

Семин. Пантелеймоном. Это жена захотела. Она учительница у меня, мудрует. Говорит: зря древние имена из обихода вышли. (Улыбает­ся.) Эксперимент, значит, делаем. Вроде как ученые себе чуму или холеру прививают. (Смеется.) Я ей говорил: будет мальчик, три месяца делай что хочешь. Вот она и начала. (Весело.) Авдей Валентинович, да снимите вы с меня совсем этот выговор. На кой он? У меня настроение радостное, а вы его портите. Вон социологи говорят: у рабочего хорошее настроение надо поддерживать, тогда производительность труда поднимается. Вы на эту лекцию ходили? Я ее с удовольствием слушал.

Воронятников. С удовольствием! А как же тебе ее без удоволь­ствия слушать, когда вся страна, все ученые только и делают, что о твоем хорошем настроении пекутся. А ты все хамеешь и хамеешь!

Чашкина. Авдей!

Воронятников. Думаешь, ты передовик? Как бы не так! У тебя руки золотые, а до передовика-то тебе еще пыхтеть и пыхтеть! Тебя для стимула на аллее вывесили, а ты и вообразил! Ты не передовик! Ты задо- вик, вот ты кто! Задовик!

Чашкина. Авдей!

Семин (идет к столу, садится на стул, пододвигает к себе бумагу). Я с вами, Авдей Валентинович, браниться не буду, не так воспитан. (Пишет.)

69

Чашкина. Семин, погоди!

Воронятников. Пусть пишет, пусть.

Чашкина. Авдей, не надо.

Семин. Выговор мне. Кто же после этого меня в бригаде уважать будет? Какой уж тут подъем...

Чашкина. Снимем выговор.

Воронятников. Нет, не снимем!

Чашкина. Авдей, сядь. Семин, выйди.

Семи н. Да разве он понимает современного рабочего человека!

Воронятников. Не понимал, не понимаю и понимать не хочу! Голову дам отрубить, а на своем стану. Выговор не сниму...

Семин. Тогда я...

Чашкина. Семин, сядь! Авдей, выйди... то есть, наоборот, ты сядь, я уйду... то есть я сяду, а ты выйди... Тьфу! Тихо! Выйди, Семин.

Семин. Пожалуйста. (Пошел.)

Чашкина. И будь недалеко.

Семин. Уж знаю. Только недолго. Я обедать хочу. (Вышел.)

Чашкина. Авдей...

Воронятников. Дуся, не надо! Портим мы их, разлагаем, волю они берут, все забирают без остатка.

Чашкина. Да делать-то что, что делать, я тебя спрашиваю? Кто он мне — сват, брат? Я об общем деле думаю, об общегосударственном.

Воронятников. Пусть меня за него выгонят: упустил, мол, золо­тые руки. Нет, не упустил — выгнал!

Чашкина. Никто тебя не тронет, и не в тебе дело. План надо дать, это главное, смысл. План! Ты не кипятись. У тебя всегда государственная голова была, ты всегда широко мыслил, верно?

Воронятников (остывая). Верно.

Чашкина. Ну и презирай его в душе, ненавидь даже, но интересы общие выше ставь. Пари над ним, ты умеешь парить, орел. Так говорю?

Воронятников. Парить умею.

Чашкина. И все! Нужен он сейчас. (Зовет.) Семин! Иди сюда!

Входит Семин.

Семин. Сняли?

Чашкина. Гришка, Гришка, любим мы тебя, потому и балуем.

Воронятников. Теперь он премиальные обратно требовать будет.

Чашкина. Авдей!

Семин. У всех будут премиальные, а у меня нет. Ко Дню-то Консти­туции всегда было.

Чашкина. Гриша, Гриша, это уж на вымогательство похоже.

Семин. Я, Евдокия Федоровна, всяких этих красивых слов не бо­юсь, мы под ними уж и без зонтика ходим. (Надулся.)

Воронятников (Семину). Ты знаешь, что я решил? За прогул в три дня без уважительной причины — вынести тебе благодарность. Это тебя устраивает?

Семин. Вы меня не поймите неправильно, Авдей Валентинович, и вы, Евдокия Федоровна. Я на вас не обижаюсь. Все я заслужил, все. Толь­ко не могу. Человек я такой — гордый, болезненный. Уйду я, и все. У нас, слава богу, безработицы нет, руки у меня неплохие... Если, конечно, по­желаете без последствий оставить, я поднажму. Я и сам нервничаю: конец квартала. И ребятам моим скажу: поднавалимся. Они могут.

70

Чашкина. Значит, нажать обещаешь, Гриша?

Семин. Увидите.

Ч а ш к и н а. Тогда снимем.

Семин встал, помялся, собираясь что-то сказать.

Чего тебе еще надо, Гриша?

Семин. Только не обижайтесь, уважьте, так сказать, молодого отца. Я к вам с чистым сердцем шел. Вот!.. (Вытаскивает из кармана четвертин­ку.) По маленькой за Пантюху моего.

Воронятников. Убери!

Семин. Я виноват, знаю, а маленький-то при чем? Шесть килограм­мов весу родился. Доктора говорят — неслыханное дело. Уже рекорд по­ставил!

Чашкина. От такого, как ты, и в полпуда может.

Семин (смеется). И длиной — шестьдесят два сантиметра. Тоже весь медицинский персонал глаза повыкатил. Как же мне от радости... Ну, не буду. (Разлил водку в два стакана, себе палил в крышку от графина.) За Пан­телеймона прошу!

Чашкина взяла стакан. Воронятников не берет.

Чашкина. Пригубь, Авдей, бери. (Тихо, на ухо.) Об общем деле ду­май, Авдей.

Воронятников (берет стакан, глухо, Семину). Тебя да таких, как ты, действительно в Америку послать работать хорошо бы... Вы бы там живо всю капиталистическую систему развалили. Ну, поздравляю.

Чокаются.

Пусть тебя твой Пантелеймон мучает, как ты меня.

Семин (хохочет). Пускай, пускай! Я ему волю давать буду, все стер­плю, пусть развивается. За него!

Все выпили.

Спасибо вам! Большое спасибо! Я ведь знаю, душевные вы люди. (Ушел веселый.)

Чашкина. Ну, леший с ним! Зато голова у нас с тобой болеть не будет.

Воронятников. Да, воспитали... Ты там действительно скажи, чтобы его персону на аллее не трогали.

Чашкина. Ая ничего и не говорила. Я знала, Авдей, чем дело кон­чится.

Воронятников. Зачем же я-то, Дуся, всю свою жизнь себя в ру­ках держал, терпел. Мне-то, думаешь, тоже козлом прыгать не хотелось? А я только одно слово знал: надо! Мы же государство разума строим и смысла. У нас все должно по графику идти, Дуся, во всем. А такие, как он...

Чашкина. Вылазят они из графика, это точно — живые... живые больно.

Воронятников (взревев). А я мертвый?

Чашкина. Мы для них старались, Авдей, для них. Воронятников. На пенсию хочу, Дуся. Уйду! И ты уйди! И все вместе уйдем. Все!.. И пусть они сами, без нас. Как хотят! Мы им плохи. А они лучше? (Вдругзасмеялся.) Ничего, ничего!.. Пусть он своему Панте­

71

лею волю дает. Тот ему покажет! Он еще на моем месте повертится!.. Од­ного хочу, Дуся, — дожить, посмотреть, как Пантелей из него человека де­лать будет. Только бы посмотреть! Только бы дожить!

Голос автора. И на операционном столе под наркозом мне гре­зился бой, танковая атака, рев самолетов, взрывы бомб...

Проснулся я в палате коек на четырнадцать, покрытых новыми зеле­ными плюшевыми одеялами. Была глубокая ночь. Большинство раненых спало. Несколько человек покуривали самокрутки. А в углу на столике стоял патефон, и худенький паренек, попыхивая цигаркой, проигрывал пластинку. По палате тихо-тихо плыла мелодия на тему «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко».

Я успел все это разглядеть, прежде чем бросил любопытствующий взгляд на свои ноги. Может быть, потому, что боялся сразу бросить этот взгляд. Посмотрел и очень удивился. Под одеялом явственно проступали обе ноги — одна нормальная, а другая громадная. Это, как я понял по­зднее, от гипса, в который я был упакован до середины живота. Около меня сидела хорошенькая блондинка с милым, добрым лицом. Она, пой­мав мой взгляд на гипсовую ногу, пояснила:

* Решили подождать ампутировать, может быть, удастся спасти.
* Как вас зовут? — спросил я.
* Мария Ивановна?
* А фамилия?
* Козлова.

Какое дивное совпадение! Мария Ивановна — моя учительница в те­атральном училище, знаменитая блистательная актриса Мария Ивановна Бабанова. А Козлова — ведь это фамилия Надюши, моей любимой девуш­ки, моей безумно любимой, до сумасшествия.

* Что вы хотите? — спросила доктор с дважды радостным для меня именем, отчеством и фамилией.
* Пить.

Белоснежная фея обрадовалась, быстро налила мне из графина, кото­рый стоял на предпостельной тумбочке, воды, подала и сказала:

* Хороший признак. А есть хотите?
* Хочу.

Мария Ивановна чуть не засмеялась. Глаза ее зажглись, как будто там внутри нее кто-то чиркнул спичкой.

* Что бы вы хотели съесть?

Что может хотеть полумертвый солдат, давно вообще ничего не ев­ший? Я полусерьезно сказал:

* Хочу пирожков с мясом... и компота.

Тогда это звучало примерно так, если бы я в Москве в декабре, когда на улице тридцать градусов мороза, попросил дать мне тарелку свежей са­довой клубники. Можно это сделать? Вы засмеетесь и скажете: едва ли. А я возражу. В идеале можно, допустим, слетать на самолете в Калифор­нию и привезти. Там именно в эту пору, в декабре, на каком-то банкете я ел эти самые душистые свежие ягоды.

Марию Ивановну порадовал мой пробудившийся аппетит, она его так­же назвала прекрасным признаком. Мы перекинулись с ней еще двумя- тремя короткими фразами, потом она молча посидела у моей койки и, ви­димо, успокоенная, ушла. Я погрузился в долгий, глубокий сон.

72

Праздник

Трагикомедия

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Андрей Иванович Зосимов, 52 лет.

Нина Сергеевна — его жена, 48 лет.

Муза — их дочь, 28 лет.

Петя — их сын, 13 лет.

Степан — муж Музы, 30 лет.

Двенадцать человек гостей.

Квартира Зосимовых. Она из трех комнат, но мы видим только две из них и кухню. Одна комната большая, другая — очень маленькая. В большой комнате накрыт стол. Желательно, чтобы он действительно выглядел натурально и эффектно. В хрусталь­ных графинах переливаются оттенками разные сорта настоек, водок — на лимонных корках, на апельсиновых, с бальзамом, со смородиной. Пестрят этикетки причудли­вых бутылок. В раскидистых вазах фрукты. Перьями жар-птицы взвиваются алые гла­диолусы. И вокруг всяческая снедь. В маленькой комнате сейчас особенно тесно, так как туда снесли все, что могло мешать в большой: и массивные кресла, и письмен­ный стол, и составные книжные полки. Между прочим, перенос вещей из комнаты в комнату и сервировку стола можно делать перед началом действия на глазах у зрите­лей, как это теперь нередко практикуется в театрах.

На сцене — Андрей Иванович Зосимов и его жена Нина Сергеевна.

Оба наряжаются к празднику и одновременно заканчивают сервировку стола.

Нина Сергеевна (взбивая перед зеркалом волосы.) И серьги при­цеплю. (Вдевает в уши длинные серьги.)

Андрей Иванович (колдуя у стола). А не зря ли ты сюда нашего Барбоса поставила? Кокнут.

Нина Сергеевна. Пусть красуется... Надень галстук поярче. Все- таки молодежь будет.

Андрей Иванович. Надо, пожалуй, капли выпить.

Нина Сергеевна. Жмет?

Андрей Иванович (доставая из шкафа капли). Профилакти­чески.

Нина Сергеевна. Водку не пей.

Андрей Иванович. Рюмочку коньяку непременно хлопну. Та­кой случай! (Оглядел стол.) Вкуснотища. Слюнки текут. Я хитрый: нароч­но за обедом почти ничего не ел.

Нина Сергеевна. Ну схвати кусочек ветчины.

Андрей Иванович. Потерплю. (Потирает руки.) Ребятки будут довольны.

Нина Сергеевна. У кофточки вид какой-то мятый.

73

Андрей Иванович. А ты накинь на плечи свой шикарный пла­ток.

Нина Сергеевна. Идея. (Достает в маленькой комнате из комо­да платок. Набросила на плечи, вернулась в столовую.)

Андрей Иванович. Царица! Таких теперь не бывает. (Целует жену.)

С футбольным мячом в руках входит подросток. Это Петя.

Нина Сергеевна (сыну). Умойся и переоденься, скоро гости придут.

Петя. Нет, я ухожу.

Андрей Иванович. Куда?

В это время входят Муза и Степан. Они с цветами, хлебом и шампанским. Оба

оживленные, счастливые.

Муза. Степа, шампанское в холодильник, живо! Мама, поставь цве­ты в синюю вазу. Папка, нарежь, пожалуйста, хлеб. Петька...

Петя. Як Пузыревым. У меня физика несделанная. Куда мой порт­фель засунули?

Нина Сергеевна. В той комнате у комода. Останься, Петя!

Петя. Не видел я гостей, что ли!

Андрей Иванович. Сестра у тебя не каждый день диссертации защищает.

Петя. Все одно. Сначала будут такие интеллигентные: сю-сю-сю-сю. Потом каждый что-нибудь умное изрекать начнет. А через часок надерут­ся и начнут похабные анекдоты рассказывать.

Муза. Как тебе не стыдно! Когда это?

Петя. Да ладно, не делай наивные глаза. (Уходит в маленькую ком­нату, лезет за комод, достает портфель.)

Муза. Я говорила — не надо при ребенке язык распускать.

Степан. Да, растет, растет дурак.

Петя (проходя через столовую с портфелем в руках, схватил со стола апельсин). Я к Пузыревым. У них и заночую. Пишите. (Ушел.)

На кухне.

Нина Сергеевна укладывает бутылки шампанского в холодильник.

Андрей Иванович (режет хлеб). Куда класть?

Нина Сергеевна. Надо на два края стола. Я тебе сейчас тарелки

дам.

В столовой.

Муза (считая стулья и приборы на столе). По-моему, два лишних, смотри. (Считает.) Двенадцать и нас двое. А тут шестнадцать.

Степан. А Нина Сергеевна и Андрей Иванович?

Муза. Ах да... о господи... Петька и тот догадался. Неужели они сами не понимают?.. Будут совершенно чужие им люди.

Степан. Тише, Музочка, тише.

Муза (шепотом). Да почему — тише? Я очень люблю маму и папу, но здесь они, честное слово, ни к чему. Засядут... Все будут смущаться. После первой же рюмочки папа начнет рассказывать, как он в партизанском от­ряде воевал «в свои восемнадцать мальчишеских лет». Кому это интерес­но?! Мама будет без конца всех угощать, будто наши гости из деревни по­наехали.

74

Степан. Все верно, Музочка, только неудобно.

Муза. Я понимаю... Ой, какие же мы дураки! Помнишь, в прошлом году у Гоги Капканова докторскую отмечали, так он своим родителям на этот вечер билеты в театр «Современник» достал. И те радовались, и всем счастье. Ты, шляпа, не сообразил. Надо было хотя бы в консерваторию. Они и туда бы с удовольствием. И почему они не пошли к Алисе Игоревне?

Степан. Тише, Муза!

С тарелками хлеба в руках входят счастливые родители.

Нина Сергеевна. Папка у нас на все руки. Посмотрите, какие изящные ломтики.

Андрей Иванович (ставя хлеб на стол). Барбоса не разбейте.

Муза. Господи, ну уберите его, пожалуйста, если жалко, положите в сундук.

Андрей Иванович. Не жалко, Музочка, я просто так сказал, на всякий случай... Вы со Степой вот здесь сядете, тут — гости, а с краю наши с мамой места. Из-за стола не вскакивайте, мы с мамой сами.

Муза (решившись). А разве вы не идете к Алисе Игоревне? У нее се­годня день рождения. Или я путаю — завтра?

Андрей Иванович. Мы не променяли бы твой праздник даже на нашу милую Алису Игоревну.

Муза (весело, как бы наивно). Мы бы не обиделись, даже очень бы вас поняли. Что наши гости? Чужие вам люди. Алиса Игоревна — папина фронтовая сестра. Там у вас всегда все свои, ваши. (Запела.) «Бьется в тес­ной печурке огонь, на поленьях смола как слеза...». Но мы, конечно, рады, что вы с нами.

Нина Сергеевна. И мы... Андрюша, куда ты заложил мои туф­ли? Я же их приготовила.

Андрей Иванович. Они там. (Показывает на маленькую комна­ту.) Прямо у дивана стоят.

Нина Сергеевна (прошла в другую комнату. Стоит молча. Ото­двинула ногой туфли за диван). Я их не вижу, Андрей!

Андрей Иванович. Экая! (Идет к жене. Видит ее состояние.) Ты что, Нина?

Нина Сергеевна. Вдруг ужасно закружилась голова. (Садится на диван.)

В столовой.

Степан. По-моему, Нина Сергеевна догадалась.

Муза. А что я такого сказала? ,

Степан. Позови их.

Муза (в дверях маленькой комнаты). Мама, папа, вы что?

А н дрей Иванович. У мамы голова закружилась.

Муза. А-а-а... Полежи немного. (Вошла в столовую.) У мамы голова закружилась. Знаешь, у нее этот возраст — переходный.

Звонок в дверь.

(Счастливо.) Наши!

Входят гости. Все сразу. Двенадцать человек. Они с подарками. Громкие восклица­ния, объятия, поцелуи, поздравления. Приглашение пройти в комнату. На все подно­шения Муза говорит: «Ну что вы, что вы! Это уж совершенно ни к чему!»

В маленькой комнате.

75

Андрей Иванович. Может, тебе прилечь ненадолго?

Нина Сергеевна. Сейчас пройдет. Ты пойди извинись за меня. Андрей Иванович. Нет-нет, я с тобой побуду.

Нина Сергеевна. Вдруг как-то, знаешь, ударило вот сюда... Андрей Иванович. У меня тоже бывает. Именно как-то сразу и тоже сюда.

Нина Сергеевна сняла платок, вынула из ушей серьги и вдруг заплакала.

Что ты, Ниночка?

Нина Сергеевна. Нестерпимая боль...

Андрей Иванович. У меня в кармане пятерчатка, прими. Нина Сергеевна. Не надо, пройдет. (Ложится на диван, широко открытыми глазами смотрит в потолок.)

Андрей Иванович. Не легче?

Нина Сергеевна. Чуть-чуть. Иди, Андрюша, Музе и Степе по­мочь надо.

Андрей Иванович. Все на столе. Пусть пока закусывают. Лежи тихо. (Укрыл жене ноги платком. Достал стопку ученических тетрадей.) Полежи минут двадцать — и пройдет. (Замечает, что у жены текут слезы. Вытирает их платком.) Ну что ты, глупенькая, потерпи. (Сел около жены, проверяет тетради.)

В течение этой сцены Муза и Степан в столовой рассаживают гостей вокруг стола. Может быть, это пантомима, а возможно, слышатся реплики:

* А вы сюда.
* Здесь тебе будет удобнее.
* Спасибо.
* Ах, какой стол!
* Как у вас уютно! и т. п.

Сейчас все уже за столом. Во все рюмки налито. Гости как на подбор — молодые, ядреные, одеты добротно, разнообразно и современно.

Первый гость (стоит с рюмкой в руке). Милая, дорогая, хоро­шенькая и умненькая наша Муза Андреевна! Два слова в вашу честь, два слова. Потому два, что тысячи их вы слышали на защите. Ваша диссерта­ция дорога нам тем, что в ней затронуты такие тончайшие и глубокие ню­ансы человеческих взаимоотношений, уловить, учуять которые способна только женская, тонко вибрирующая от малейших колебаний натура. Вы — барометр нашего времени.

Второй гость. Термометр.

Третий гость. Вольтметр!

Четвертый гость. Счетчик Гейгера!

Пятый гость. Азимут!

Первый гость. Ребята, тихо, иду на коду! И пока существуют та­кие приборы, все в мире спокойно. И оттого с чистой душой и ясной со­вестью можно... выпить!

Общий шум. Чоканье. Симфонический лязг ножей, вилок, зубов.

В маленькой комнате.

Андрей Иванович (уже снял пиджак. Склонился над тетрадями, изредка поглядывая на жену). Послушай, пожалуйста, что написала учени­ца седьмого «Б» госпожа Йзюмова. «На берегу реки колхозница доила ко­рову, а в воде отражалось наоборот». А?

76

Нина Сергеевна (принужденно смеясь). По-моему, она просто свое остроумие тебе напоказ выставляла.

Андрей Иванович. Не исключено. Совершенная бандитка. Но одаренная исключительно, особенно в математике.

Нина Сергеевна. Они теперь все развитые. К сожалению, не­редко в одну сторону.

Андрей Иванович. А вот еще один перл. Огуречников Павел: «Под аплодисменты присутствующих молодая доярка сошла с трибуны, и на нее взобрался пожилой колхозник». Каково?

Нина Сергеевна. Наклонись, я тебе что-то скажу.

Андрей Иванович (наклонился к жене). Что?

Нина Сергеевна. Дурачок ты!

Андрей Иванович. Интересно — почему?

Нина Сергеевна. Эти шутки ты мне лет пятнадцать тому назад рассказывал... Я уже успокоилась.

Врывается раскрасневшаяся Муза.

Муза. Мам, а где соленые огурчики? Я сама покупала.

Нина Сергеевна. Они в холодильнике, в нижнем выдвижном лотке.

Муза. А вы что, решили не идти к нам?

Андрей Иванович. Знаешь, устали за день. Вы там без нас все найдете?

Муза. Найдем, найдем, отдыхайте. Замотались, я вас понимаю. Как твоя голова, мамочка?

Нина Сергеевна. Лучше.

Муза. Вот и хорошо. (Убежала.)

В столовой.

Здесь уже шумно. Мизансцена более вольная — не только вокруг стола.

Муза. Степа, внизу в холодильнике, в лотке, огурчики. Принеси.

Шестой гость. Друзья! Пока вы еще способны слушать, я пред­лагаю выпить за верного помощника Музы, за друга, незримого соратни­ка, без которого... и так далее... За Степана!

Именно в этот момент входит Степан с тарелкой, полной соленых огурцов.

Седьмой гость. Вот он, полувиновник торжества!

Восьмой гость. Горько!

Все. Горько! Горько!

Муза подбегает к Степану и под общие крики восторга целует его. Степан обносит

гостей огурцами.

Девятый гость. Этим летом, когда я был в Никарагуа...

Десятый гость. Товарищи, вы читали в «Советской России» ста­тью Щипчиковой? Это что-то невероятное!

Одиннадцатый гость. Я человек принципиальный. У меня если да — то да, если нет — то нет, середины я не признаю.

Двенадцатый гость. Ты идеалист.

Одиннадцатый гость. Не возражаю.

Двенадцатый гость. А ты знаешь, милый, жестокость начина­ется с идеализма.

Одиннадцатый гость. Оставь парадоксы.

77

Двенадцатый гость. Да-да, жестокость начинается с идеализ­ма. Христианская религия возникла как протест против рабства и насилия, а потом сама утверждала Бога огнем, мечом, виселицами, кострами. Во­инствующая церковь!

Пятая гостья. Ненавижу идеалистов, ненавижу стопроцентных добрых, честных, верных своим мужьям и женам до гроба, всегда знаю­щих, как люди должны вести себя. Именно они заражены самым страш­ным пороком — присвоением себе права судить других. Надо уметь про­щать слабости, даже пороки, сострадать, а не казнить. А они: «Руби спле­ча! Изгоняй, искореняй! Ату его!» Мне всегда защитник симпатичнее судьи, а особенно прокурора.

Седьмой гость. А ты много раз судилась?

Пятая гостья. Да меня судят все. А я хочу жить так, как я хочу!

Девятый гость. Тихо, тихо... А я ценю главным образом выдер­жку. Выдержка — это броня и оружие. Будьте выдержанны, как этот пес, который с каким-то непонятным превосходством смотрит на нас. (Поднял собаку, читает на ней внизу надпись.) «На вечную верность».

Четвертый гость. Какой прекрасный сентиментализм!

Второй гость. Главное, никогда не надо обещать, связывать се­бя. «На верность», а потом хвост дугой — и ищи-свищи, где твои клятвы. Потому что пришло новое чувство — сильное, крепкое, и ничего не поде­лаешь.

Восьмой гость. Ребята, это, конечно, цинично, но когда я заво­жу какую-нибудь заводиловку в этом роде, сразу предупреждаю: без обя­зательств! И все получается прелестно.

Муза. Это папа подарил маме в день их серебряной свадьбы.

Второй гость. О, я снимаю все свои пошлые подозрения!

Четвертый гость. Да, раньше умели любить и глубоко чувство­вать.

Третий гость. Музочка, а где они?

Муза (неожиданно для самой себя). Ушли в гости к папиной фронто­вой сестре. Они были в одной батарее. Алисе Игоревне. У нее день рожде­ния.

Десятый гость. А хорошее у них было время. «В одной батарее!..» Звучит!

Третий гость (запел). «Бьется в тесной печурке огонь...»

Все подтягивают.

В маленькой комнате.

Родители уже переоделись в домашнее платье.

Андрей Иванович (слушая песню). Они неплохие ребята. Про­сто иные. Мы никак не можем с ними смонтироваться.

Нина Сергеевна. Ты голоден. Пойди возьми там что-нибудь.

Андрей Иванович. Чепуха, подумаешь! Ты-то тоже, наверное, есть хочешь.

Нина Сергеевна. Я, когда стряпала, схватила того, другого, тре­тьего. Как раз сыта.

Андрей Иванович. Они очень развитые, Нина, эрудированные.

Из столовой доносится громкий хохот.

Вот чудаки: после такой грустной песни — смех.

78

Нина Сергеевна. А ты знаешь, я разделяю точку зрения Руссо: цивилизация не способствует прогрессу.

Андрей Иванович. Ну, ну, милая, уймись и успокойся.

Нина Сергеевна. Да, да! Видишь ли, Андрюша, я с подозрени­ем отношусь к цивилизации, потому что она порождает чертей.

Андрей Иванович. Любопытно.

Нина Сергеевна. Именно. Конечно, черти и до этого были. Из- за чертей-то она и возникла, цивилизация, в борьбе против них. Но вмес­то одной дьявольской силы возникает другая. Мне даже желательнее черт с копытами и рогами, чем черт в пиджаке, ведьма в ступе и с помелом, чем в модной юбочке, туфельках и с сумочкой через плечо. И знаешь почему? Вот я говорю с ней или с ним, думаю: это человек. А это — черт или ведь­ма. Я и попалась, я и в дураках. А были бы копыта, рога, помело — сразу видно.

Андрей Иванович. Ты очень расстроилась, Нина?

Нина Сергеевна. Откровенно говоря, да. Ты знаешь, чем горя­чее мы их любим, тем они к нам безжалостнее.

В столовой.

Девятый гость, который вертел в руках собаку, уронил ее на пол, и собака вдребез­ги разбилась.

Муза. Ай!

Восьмой гость. Муза, не огорчайтесь, это к счастью!

Третий гость. Разбить собаку — это самое большое счастье!

Седьмой гость. Да, это не какая-нибудь тарелка.

Шестой гость. В денежно-вещевую выиграете «москвича».

Второй гость. Нет-нет, это к докторской! Муза защитит доктор­скую!

Десятый гость. Должность на триста рублей!

Двенадцатый гость. Квартиру из трех комнат!

В маленькой комнате.

Нина Сергеевна. По-моему, они разбили Барбоса.

Андрей Иванович. Нет, упало что-то металлическое.

Нина Сергеевна (нервничая). Они разбили Барбоса!

Андрей Иванович. Ну, допустим. Бывают и пострашней со­бытия. Я даже их понимаю, Нина. У Музы большая радость, успех, празд­ник.

Нина Сергеевна. Андрюша, они звереют от этих своих успехов, ничего вокруг не видят, ничего и никого. Им только успех подавай, успех, успех! Ну посади за стол отца и мать на десять минут, а потом гуляй, тор­жествуй, вампирствуй.

Андрей Иванович. Нина, не унижайся.

Нина Сергеевна (плача злыми слезами). Ты понял, что они нас не хотят, понял? Мы им не только не нужны, мы лишние, мы в тягость. Мы любили их какой-то зоологической, звериной любовью, а в ответ...

Вдруг распахнулась дверь. На пороге Муза.

Муза. Ку-ку! Как вы тут? (И не дожидаясь ответа.) Мам, где у нас совок и щетка? Мы тарелку разбили.

Нина Сергеевна. Около мусоропровода.

79

Муза. Все очень довольны. И так весело! (Исчезла.)

В столовой.

Муза. Степа, около мусоропровода щетка и совок. Подмети.

Все собрались в кружок и о чем-то тихо-тихо, но страстно говорят. Горячий шепот, горячее и горячее. Один из гостей включил магнитофон. Постепенно все начинают

танцевать.

В маленькой комнате.

Андрей Иванович (вдруг рассердившись). Ты знаешь, я сейчас пойду к ним и скажу все, что думаю о них, при всех.

Нина Сергеевна. Не сходи с ума. Не надо.

Андрей Иванович (надевая пиджак). Нет, нужно, даже необхо­димо. Для них же, а то совсем оскотинеют.

Нина Сергеевна (удерживая мужа). Андрюша, не смей.

Андрей Иванович. Пусти!

Нина Сергеевна. Не пущу, сядь. Сядь, я тебе сказала! (Насильно усаживает мужа на стул. Целует.)

Андрей Иванович. Я не хочу, чтобы ты была в таком унизитель­ном положении.

Нина Сергеевна. Ая — чтобы ты. Сиди. Разнервничаешься, и только плохо тебе будет. Вон уже как пульс прыгает.

Андрей Иванович (ворчит). Подыхать нам надо, подыхать.

Нина Сергеевна. Ну, мы еще и до пенсии не дотянули. Подож­дем умирать.

Андрей Иванович. Надо было нам уйти к Алисе Игоревне. По­сидели бы, я бы с ней в шахматы сразился. Как это она тогда меня выста­вила!

Нина Сергеевна. Давай сыграй со мной.

Андрей Иванович. Ты плохо играешь.

Нина Сергеевна. Напрягу все извилины.

Андрей Иванович. Нет-нет, когда я с тобой играю, только злюсь на тебя.

Нина Сергеевна. Попробуем. (Достает шахматы.)

В столовой.

Часть гостей танцует. Некоторые сидят группой. Курят.

Третий гость (к группе). Товарищи, совсем забыл! Недавно услы­хал замечательный анекдот. Он несколько с перчиком, но... Разговарива­ют француз, американец, англичанин, русский и китаец...

Седьмой гость. Уже смешно!

Все смеются.

Входит Петя.

Муза. Петя!

Петя. К Пузыревым из Верхнего Тагила родня приехала. Места нет.

Муза (всем). Это, товарищи, мой братик Петя.

Все как шакалы набрасываются на Петю.

Первый гость. Петя! Здравствуй, Петя!

Второй гость. Ой, какой бравый парень!

Третий гость. А учишься, поди, не ахти как?

Четвертый гость. Смотри, надо хорошо учиться, Петя.

80

Шестой гость. А то после школы сразу в армию угодишь, Петя! Пятая гостья. Петя, а сколько тебе лет?

Седьмой гость. Какой он большой!

Восьмой гость. Акселерация!

Девятый гость. Жених!

Петя (Музе). А родители где?

Муза. Они ушли к Алисе Игоревне.

Одиннадцатый гость. Именно жених!

Двенадцатый гость. Уже, поди, девочки есть?

Первый гость (в восторге). Пете рюмочку!

Муза. Он не пьет.

Второй гость. Ха-ха-ха!

Третий гость. Они теперь с пятого класса пить начинают. Четвертый гость. А курить — с детского садика.

Восьмой гость. Акселерация!

Шестой гость. Шампанского!

Седьмой гость. А может, коньячку?

Петя. Я пью только виски.

Общий восторг.

Девятый гость. Виски!

Десятый гость. Где виски?

Одиннадцатый гость. Нет виски.

Двенадцатый гость. Ах, черт, у меня дома настоящая «Белая лошадь»!

Третий гость. Съешь индейки, Петя!

И новая атака на Петю.

Первый гость. Апельсин!

Третий гость. Сервелат!

Четвертый гость. Ветчины!

Все протягивают Пете куски, тарелки, фрукты.

Петя (пробиваясь сквозь всех). Спасибо, нет... Большое спасибо... Нет-нет, я сыт... Спасибо вам... Благодарю...

Седьмой гость (крикнул). За детей!

Восьмой гость. Ура!

Девятый гость. За смену!

Десятый гость. За самое дорогое!

Одиннадцатый гость. Да-да, это теперь главное — прирост населения.

Четвертый гость. Рождаемость падает, это ужасно. Двенадцатый гость. Сейчас стимулируют рождаемость. Первый гость. За воспроизводство!

У всех налито. Все чокаются. В этот момент Петя проскальзывает в маленькую

комнату.

Петя (увидев родителей). Вы тут?

Нина Сергеевна. А что удивительного?

Петя. Музка сказала — вы ушли к Алисе Игоревне.

Андрей Иванович. Вот как? Она пошутила.

Петя (оценивая ситуацию). Вы ели?

81

Андрей Иванович. Конечно, ужинали.

Петя. А я есть хочу. Сейчас... (Решительно пошел в большую комнату навстречу новой атаке.)

Но все сидят развалясь. Тихо журчит беседа, и никто не обращает внимания на

мальчика.

(Подходит к столу, берет большую тарелку и накладывает на нее еду, даже выбирает ее из рук гостей — у кого ножку индейки, у кого апельсин, у кого снимает с тарелки кусок торта. Возвращается к родителям, ставит та­релку на письменный стол.) Питайтесь!

Родители с аппетитом принимаются за еду.

Нина Сергеевна. Спасибо, Петя!

Андрей Иванович. А ты?

Петя. Меня у Пузыревых обкормили. Спать хочу. Только мы с Пу­зырем собрались улечься, к ним из Верхнего Тагила родня приехала. Вва­ливаются трое. Чего-то покупать приехали.

Нина Сергеевна. Ложись.

Петя (раздевается, ложится). А вы как?

Андрей Иванович. Мы с мамой посидим.

Нина Сергеевна. Надо потом помочь Музе посуду помыть, уб­раться.

Петя. Непонятные вы люди. Ну, ваше дело. (Укрылся одеялом с голо­вой.)

В столовой.

Все слушают серьезную классическую музыку.

Девятый гость. Все-таки классика — это классика...

В маленькой комнате.

Андрей Иванович. Душно что-то.

Нина Сергеевна. А по-моему, даже прохладно. Ты прими капли.

Андрей Иванович. Ничего...

Нина Сергеевна. Они у тебя здесь?

Андрей Иванович. Нет, в буфете.

Нина Сергеевна. Достать?

Андрей Иванович. Что ты! Отпустит.

Нина Сергеевна. Приляг.

Андрей Иванович. Отпустит.

Нина Сергеевна. Ты побледнел.

Андрей Иванович. Ну и что ж, пройдет.

Нина Сергеевна идет к двери.

Нина, не надо. Неловко. Она же сказала, что мы ушли. Сейчас отпустит.

Нина Сергеевна, приоткрыв дверь, знаками старается привлечь внимание Музы или

Степана.

Муза (заметив знаки матери, подошла). Что, мамочка?

Нина Сергеевна. Достань папе из шкафа капли.

Муза. Сейчас. (Достала пузырек, передает матери.) Пройдет. У него это часто бывает.

82

Нина Сергеевна (подошла к мужу). Андрюша!.. Андрюша, что с тобой?.. «Неотложку» надо. Я вызову «неотложку».

Андрей Иванович. Нет-нет, что ты! Нет-нет, весь праздник ис­портишь, не смей, что ты, что ты... (Пьет капли.)

В столовой.

Одиннадцатый гость. В вашей диссертации, Муза Андреевна, мне особенно запомнилось место о гуманизме.

Все. Да, да...

Седьмой гость. Давайте-ка, братцы, хлопнем за гуманизм.

Восьмой гость. За гуманизм!

Девятый гость. За гуманизм!

Третий гость. За гуманизм!

В маленькой комнате.

Нина Сергеевна. Андрюша, ты задремал?

В столовой.

Четвертый гость. За гуманизм!

Все поднимают рюмки.

В маленькой комнате.

Нина Сергеевна. Андрюша... Андрю... Спи миленький, спи...

Голос автора. Проснулся я, наверно, часов через четырнадцать в светлой солнечной палате. У койки в белоснежном халате стояла та же са­мая Мария Ивановна, но сейчас у нее в руках была литровая банка с до­машним компотом и тарелка с румяными продолговатыми пирожками... А?! Это она успела за пробежавшие ночь и утро сварить компот и испечь пирожки. Самолет летал в Калифорнию. Нет, дальше, выше, на самые не­беса! «Что он Гекубе, что она ему?» Что я — один из миллионов раненых солдат — для измученного ночными дежурствами, потоком раненых, опе­рациями палатного врача?

Сколько я за свою жизнь встречал этого бесценного человеческого участия! Нет, ни ум, ни знания, ни даже талант никогда не заменят на зем­ле этого поразительного, исцеляющего душу и тело тепла человеческой доброты.

Всего вам доброго, товарищи! Всего вам самого доброго!

Конец

1974